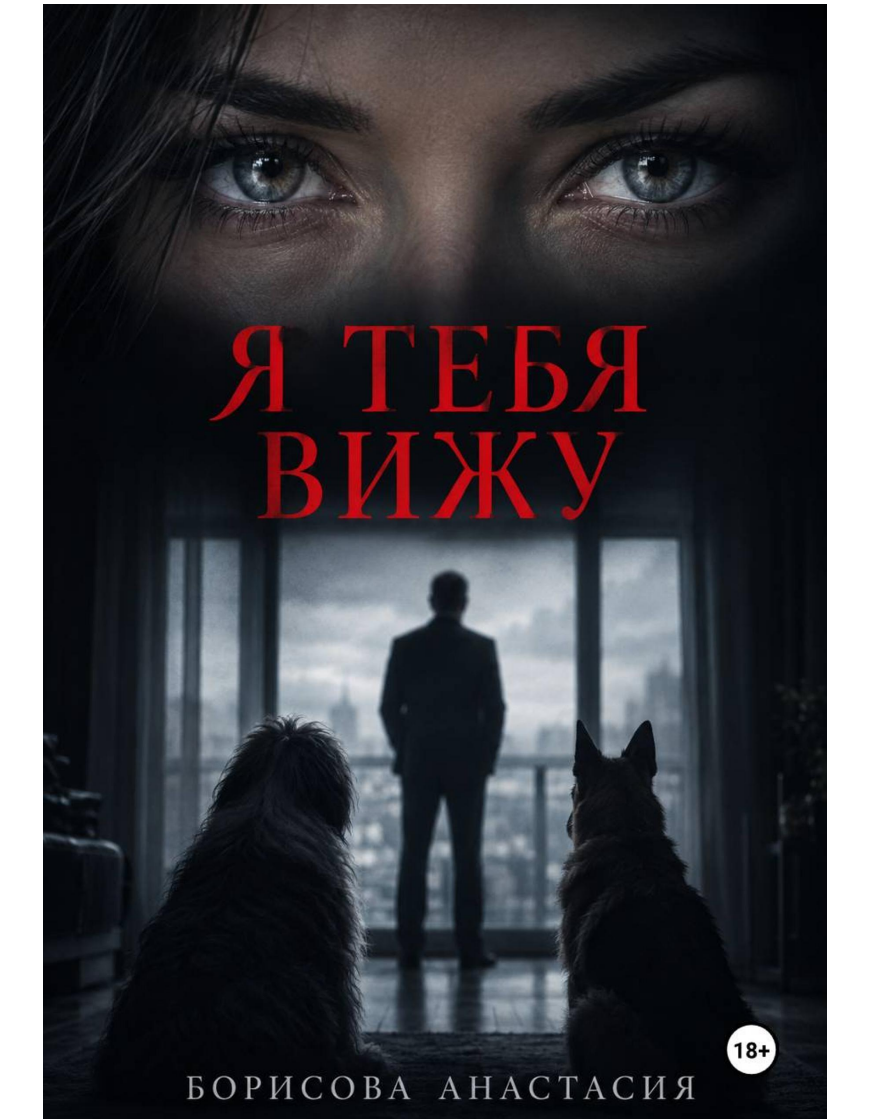


The poster features a close-up of a woman's face at the top, with her intense blue eyes looking directly at the viewer. Below her face, the title 'Я ТЕБЯ ВИЖУ' is written in large, bold, red Cyrillic letters. In the background, a man in a dark suit stands with his back to the camera, looking out of a large window at a city skyline. In the foreground, two dogs are seen from behind, looking towards the man. The overall mood is mysterious and suspenseful.

Я ТЕБЯ ВИЖУ

БОРИСОВА АНАСТАСИЯ

18+

Анастасия Борисова

Я тебя вижу

<https://litres.ru/73908163>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она не заметила, как ее собственная жизнь превратилась в тюрьму. Контроль, ревность, изоляция от друзей и один вечер, разделивший жизнь на «до» и «после». Анна выжила. Ушла. Начала сначала, но прошлое не отпускает.

Кирилл, осужденный условно за избиение, требует ее присутствия на захвате заложников. Он готов говорить только с ней. Анне придется войти в зал суда и сказать правду человеку, которого она когда-то любила.

И в тот же день она встретит человека, который не будет ее жалеть или спасать. Он просто поверит. А вера окажется сильнее любой профессиональной техники.

История о том, как после полного разрушения можно не просто выжить, а построить новое счастье без страха, без синяков, без оглядки

Анастасия Борисова

Я тебя вижу

Часть первая. До

Глава 1. Тишина

Рокки не хотел уходить из ветклиники. Он сидел у двери, положив лохматую морду на лапы, и смотрел на Анну с укором. Серо-белая шерсть свалялась на загривке, брови нависали над глазами, придавая ему выражение обиженного философа, которому мир задолжал если не объяснений, то хотя бы вкусного ужина. Бобтейлы вообще умеют смотреть так, будто знают о тебе что-то, чего не знаешь ты сама. Взгляд у них долгий, немигающий, с той особенной собачьей серьезностью, которая заставляет даже самых уверенных в себе людей чувствовать себя провинившимися школьниками. Анна, которая двадцать лет вела переговоры с вооруженными преступниками и ни разу не отвела глаз первой, сейчас отвела. Она не могла смотреть в эти глаза. Потому что в них было все преданность, обида, любовь и немой вопрос: «Почему ты делаешь мне больно?»

— Пойдем, старый, — сказала она, наклоняясь, чтобы застегнуть поводок. — Дома посипись.

Рокки не сдвинулся с места. Только бровь приподнял, одну, левую, что придавало его морде выражение скептическое до крайности. Он вообще умел управлять бровями так, буд-

то прошел специальные курсы актерского мастерства. Сейчас, например, левая бровь говорила: «Я тебя не виню, но и не одобряю». Правая молчала, придавленная шерстью, но Анна знала, что, если бы могла, она бы тоже выражала негодование.

— Доктор сказал, это просто ушной клещ. Не смертельно.

Пес фыркнул, и в этом фыркание слышалось все, что он думает о ветеринарной медицине в целом и о ее неспособности распознать драму мирового масштаба. Он был прав, конечно. Для пса любое посещение врача было личным оскорблением, вторжением в священные границы его организма, который, по его глубокому убеждению, работал безупречно с самого рождения.

Анна вздохнула. Она уже двадцать лет вела переговоры с вооруженными преступниками, террористами, суицидниками на краю высотных зданий, с людьми, которые собирались взорвать себя вместе с заложниками, и с теми, кто уже нажал на спусковой крючок, но промахнулся. Но с бобтейлом, который решил, что его обидели, спорить было сложнее, чем со всем спецназом Северного Кавказа вместе взятым. Потому что преступников она читала как открытые книги: их страхи, их слабости, их точки давления. А Рокки читал ее. Он знал, когда она врет, когда торгуется, когда готова сдаться. И пользовался этим без зазрения совести.

— Если ты сейчас не пойдешь, я куплю тебе ту самую коробку печенья, от которой у тебя потом живот болит.

Собака поднял голову, прислушиваясь. Уши у бобтейлов маленькие, висячие, почти незаметные под шерстью, но Анна знала, что он слышит каждое слово, каждую интонацию, каждую попытку манипуляции. Он даже, кажется, слышал, как бьется ее сердце, и знал, когда оно бьется чаще от страха, а когда от любви. Сейчас оно билось от любви, и Рокки это знал.

— С говядиной. Искусственной, но ты же все равно не отличаешь.

Пес встал, отряхнулся, шерсть взметнулась серо-белым облаком, и несколько волосков опустились на пол, осели на ее джинсах и на куртке, которую она держала в руках. Рокки линял круглый год, это была его маленькая месть за то, что его заставляли ходить к ветеринару. Анна смирилась с этим давно. Шерсть была везде: в машине, на одежде, в еде, даже, кажется, в ее снах. Но она не представляла жизни без этой шерсти.

Пес послушно направился к выходу, волоча поводок за собой, но с таким видом, будто делал одолжение всему человечеству. Он умел ходить так, что казалось, это не он идет за хозяйкой, а она за ним, и он просто позволяет ей быть рядом из чистого великодушия.

Анна расплатилась на ресепшене. Молодой ветеринар, на протяжении всего осмотра делавший ей комплименты с таким усердием, что становилось неловко, провожал ее взглядом. «Вы так хорошо выглядите для своих лет, вам точно

сорок три?» — спрашивал он, и она машинально отмечала, что парень явно пересмотрел сериалов про женщин-полицейских, где героини в сорок выглядят на двадцать пять и бегают по крышам на каблуках. Ей было сорок три, она выглядела на свои сорок три, и каблуки носила только на официальные мероприятия, которые старалась пропускать. Ее лицо хранило следы прожитых лет: морщины у глаз от привычки пристально вглядываться, складка у рта от долгих молчаливых раздумий, седина на висках, которую она не красила, потому что не видела смысла. Она была красивой, но не той красотой, которую показывают в глянце, а той, которая появляется у женщин, переживших больше, чем им было отмерено.

— Приходите через месяц на контрольный осмотр, — сказал ветеринар.

— Приду, — ответила Анна, хотя знала, что придет через три недели, потому что Рокки начнет чесать ухо раньше, и она не сможет на это смотреть.

Она вышла на улицу.

Март в этом году выдался серым и злым. Снег сошел только на прошлой неделе, обнажив грязный асфальт, прошлогодние листья, прибитые к земле дождями, и чьи-то растоптанные надежды в виде окурков у крыльца. Небо висело низко, тяжелое, цвета старого бетона, и воздух пах сыростью и прелью — тем запахом, который в Москве называют весенним, хотя настоящая весна наступит еще не скоро. Деревья

стояли голые, черные, с набухшими почками, которые никак не могли распуститься, словно боялись, что их обманут очередным заморозком.

Анна на секунду задержалась на крыльце, вдохнула холодный воздух полной грудью и почувствовала, как привычная усталость растекается по плечам, спускается вниз по позвоночнику, тяжелеет в ногах. Усталость за два года стала ее постоянной спутницей, такой же привычной, как старый свитер, который она носила дома, или как тишина в квартире, когда Рокки засыпал. Эта усталость не проходила после сна, не уходила после выходных, не растворялась в кофе. Она была фоновой, как гул трансформаторной будки за окном. Она не мешала жить, но никогда не умолкала.

Пес ждал у машины. Черный «Опель Мокка», 2018 года, незаметный, с запачканным шерстью задним сиденьем и царапиной на левой двери — следствием неудачной парковки в прошлом году, когда она слишком поздно заметила бетонный столб. Она купила эту машину три года назад, сразу после того, как поняла, что служебный «Форд» придется сдать. Вместе с удостоверением, кабинетом на пятом этаже с видом на Садовое кольцо, с чувством собственной нужности, которое она даже не замечала, пока оно не исчезло.

— Запрыгивай, — сказала она, открывая заднюю дверцу.

Рокки запрыгнул с достоинством, которое позволяло предположить, что он делает это исключительно из вежливости. Устроился на своем обычном месте — левом заднем

сиденье, положил голову на подголовник и устался в окно с видом пассажира междугороднего автобуса, которому предстоит долгий путь. Он не смотрел на нее, демонстрируя, что обида еще не прошла. Анна знала, она пройдет, когда они приедут домой и она даст ему заслуженное печенье.

Анна села за руль, завела двигатель. «Опель» ожил с легким дрожанием, которое она научилась узнавать, как пульс. Несколько минут она просто сидела, глядя на серое небо через лобовое стекло, на редкие капли дождя, которые начинали собираться на стекле, на дворники, которые сгоняли их с мерным, успокаивающим ритмом. Внутри было тихо. Не та тишина, которая приносит покой и умиротворение, а та, которая зияет пустотой, как комната, из которой вынесли всю мебель, оставив только голые стены и эхо. Она привыкла к ней за два с половиной года. Почти привыкла. Но иногда, в такие минуты, когда некуда спешить и не о ком беспокоиться, кроме собаки, которая спит на заднем сиденье, эта тишина становилась невыносимой. Она напоминала о том, что когда-то в ее жизни было иначе.

Машина тронулась, в салоне заиграло радио, какая-то поп-песня, бойкая и навязчивая, про любовь, которая «никогда не кончается». Анна выключила приемник, и тишина вернулась. Рокки вздохнул за ее спиной, так тяжело, почти человечески, и она улыбнулась. Пес был единственным существом, которое умело вздыхать так, что это означало: «Я здесь, я с тобой, и ничего страшного не случилось».

Дорога до дома заняла сорок минут, хотя в навигаторе было написано двадцать пять. Москва в этот час уже стояла плотно, километровые пробки на магистралях, медленное течение машин от светофора к светофору, красные огни стоп-сигналов, зажигающиеся одновременно, как по команде. Но она знала маршруты, которые объезжали основныезаторы: дворы на Садовом, переулки за Павелецким вокзалом, набережную, где можно было проскочить до самого Ленинского. Знание города, нажитое за двадцать лет работы, когда каждая минута могла стоить жизни, и нужно было добраться быстрее, чем палец преступника успеет нажать на спусковой крючок. Теперь эти маршруты пригождались только для того, чтобы быстрее привезти собаку из ветклиники и успеть в магазин до закрытия.

Дом на Тверской она старалась не замечать, когда проезжала мимо. У нее был свой маршрут, он огибал его по дуге, через Большую Бронную и Малую Дмитровку, но сегодня пробка вынудила свернуть на Тверскую, и теперь она стояла прямо напротив.

Восемнадцатый этаж. Угловые окна, из которых открывался вид на всю улицу, на разноцветные вывески магазинов, на вечерние огни, которые зажигались раньше, чем в других районах, потому что Тверская никогда не спала. Их спальня выходила на запад, и по вечерам солнце заливало комнату теплым, густым светом, делая стены персиковыми, а белые шторы — золотыми. Она помнила этот свет. Помнила, как

любила ложиться на кровать — широкую, с высоким изголовьем, которую они выбирали вместе в итальянском салоне, и смотреть, как солнце ползет по потолку, медленно, по сантиметру, меняя оттенки от охры до темной меди. Кирилл сидел рядом, перебирал бумаги, говорил что-то о бизнесе, о партнерах, о планах на следующий год. Она почти не слушала, только кивала в нужных местах, потому что ей было хорошо. Просто хорошо. Тепло, сытно, спокойно. Она думала, что это и есть счастье — такое, какое показывают в рекламе дорогих часов или загородных домов. Тихая гавань после двадцати лет штормов. Она не знала тогда, что тихие гавани часто оказываются ловушками.

Рокки заскулил с заднего сиденья — тихо, жалобно, как щенок, хотя ему было уже семь лет, и он весил под сорок килограммов. Он не любил это место. Он помнил его. Помнил запахи, звуки, помнил, как здесь было страшно. Анна знала, что собаки помнят не хуже людей. А может быть, и лучше.

— Вижу, — сказала она, не оборачиваясь. — Не волнуйся, мы туда не вернемся.

Она перестроилась в правый ряд, свернула в переулок и уехала. В зеркале заднего вида мелькнул угол дома, последний этаж, окно, за которым когда-то горел свет. Потом и он исчез.

Квартира на Ленинском проспекте, которую она снимала последние полгода, была маленькой, темной и совершенно чужой. Две комнаты с низкими потолками, узкая кухня, где

едва помещались холодильник и обеденный стол, ванная без окна, где постоянно запотевало зеркало, сколько ни проветривай. Мебель осталась от хозяйки — старый диван с продавленными подушками, телевизор, показывающий только три канала, и сервант с хрусталем, за стеклом которого стояли пыльные рюмки и вазочка для варенья. Но хозяйка разрешала собаку, не требовала справок о доходах и не задавала вопросов. Для Анны этого было достаточно.

Она зашла, сняла куртку, повесила на крючок в прихожей. Рокки прошел на свое место — угол у батареи, где она постелила старый плед, купленный когда-то в Икее, с выцветшими рисунками собак. Устроился, вздохнул тяжело, по-человечески, положил голову на лапы и закрыл глаза. Через минуту он уже спал, посапывая и дергая лапой во сне. Ему снилось что-то хорошее — может быть, тот самый сад в Серебряном Бору, где он бегал, не зная усталости, где пахло жасмином и травой, где не было ветеринаров и ушных клещей.

Анна прошла на кухню, поставила чайник. Достала из холодильника вчерашний суп — овощной, с курицей, разогрела, налила в миску. Села за стол. За окном темнело, на Ленинском зажглись фонари, и их желтый свет просачивался сквозь тонкие занавески, ложась на пол полосами, похожими на тюремную решетку. Она смотрела на эти полосы и думала о том, как странно устроена жизнь: когда-то она была той, кто освобождал людей из тюрем, которые они строили для себя сами. А теперь она жила в квартире, где тени на полу

напоминали решетку, и это казалось ей справедливым.

В телефоне было три пропущенных от адвоката. И сообщение: «Позвони, когда освободишься. По делу Соболева новости».

Анна отложила телефон. Достала из шкафа чашку, ту единственную, которую привезла из старой квартиры, белую, с трещиной на ручке. Она не могла ее выбросить. Не потому, что чашка была дорогая или красивая. А потому, что эту трещину оставил Рокки, когда был щенком: прыгнул на стол, смахнул чашку, и она ударилась о каменную столешницу, но не разбилась, только треснула. Кирилл тогда хотел ее выбросить. Анна не дала. «Это память, — сказала она. — О том, как он был маленьким». Кирилл усмехнулся: «Ты и о собаке будешь помнить, когда она вырастет?» Она не ответила. Она помнила. И чашка с трещиной была для нее важнее, чем вся посуда из итальянского сервиза, который он привез из командировки.

Она налила чай. Доела суп. Вымыла посуду. Вытерла руки. Потом села на диван, поджала под себя ноги, взяла телефон и набрала номер.

— Слушаю, — голос адвоката был напряженным, тем особенным тоном, означающий плохие новости.

— Что у него?

— Новый иск. На этот раз о признании дома в Серебряном Бору совместно нажитым имуществом.

Анна закрыла глаза. Дом. Ее дом. Единственное место, где

она могла дышать полной грудью, не оглядываясь, не проверяя, кто смотрит, не держа спину прямой, как по команде. Сад, который она сама разбивала, выбирала саженцы в питомнике, спорила с ландшафтным дизайнером о том, где посадить гортензии, а где — жасмин. Веранда, где они с Рокки сидели по вечерам, она с книгой, он с головой на ее коленях, и где было слышно, как шумят листья за открытым окном. Камин, перед которым она плакала, когда никто не видел, сворачиваясь в клубок на ковре и позволяя себе то, чего не позволяла никогда: слабость.

— У него нет оснований, — сказала она, открывая глаза.

— Дом был оформлен на меня. Подарок.

— Он утверждает, что ремонт и содержание оплачивал он. Есть чеки. Много чеков. За десять лет.

— Это не делает дом совместно нажитым.

— Знаю. Но он затягивает процесс. Это уже пятый иск за полгода, Анна. Он не хочет выиграть. Он хочет, чтобы ты устала. Чтобы ты сдалась. Чтобы ты сказала: забирай все, только оставь меня в покое.

— Я не устану.

Адвокат замолчал. В трубке слышно было его дыхание тяжелое, с хрипотцой, как у курящего человека, пытающегося бросить, но срывается каждую пятницу. Анна знала, что он курит. Видела однажды, как он стоял у здания суда, пряча сигарету в кулаке, и затягивался жадно, как человек, которому не хватает воздуха. Она не осуждала. У каждого есть

свои способы держаться.

— Он подал еще один документ, — сказал он наконец. — Заявление на собаку.

Анна замерла. Рука, державшая телефон, вдруг стала тяжелой, словно свинцовой. Она почувствовала, как кровь отливает от лица, как кончики пальцев холодеют, как в груди что-то сжимается, не сердце, что-то другое, более хрупкое, что держало ее на плаву все эти два с половиной года.

— Что?

— Требуется признать собаку совместно приобретенным имуществом и передать ему. В иске указано: «собака породы бобтейл, кличка Рокки, 2019 года рождения, приобретена в период брака за счет общих средств».

— Это... — Она не нашла слов. Воздуха не хватало, словно кто-то сжал грудную клетку. Она смотрела на Рокки, спящего в углу, положив голову на лапы, и во сне шевелил бровями, будто спорил с кем-то. Он был таким беззащитным. Таким ее. И Кирилл хотел забрать его. Забрать, потому что знал, это раздавит ее сильнее, чем любые иски о квартире или доме.

— Абсурд, я знаю. Судья это отклонит. Но сам факт. Он знает, что для тебя это сильнее, чем квартира на Тверской. Чем дом в Серебряном Бору. Чем все вместе взятое.

Анна смотрела в стену. На кухне тикал чайник, остывая. Где-то за стеной сосед смотрел телевизор, и сквозь тонкую перегородку пробивались обрывки новостей: кто-то кого-то

убил, кто-то кого-то обманул, кто-то кого-то предал. Обычный вечер в обычном городе.

— Когда слушание? — спросила она. Голос прозвучал ровно, хотя в горле стоял ком, который она не могла проглотить.

— Через две недели. Предварительное. В том же здании суда, где рассматривалось уголовное дело. Тверская, 13.

Анна кивнула, хотя адвокат ее не видел.

— Хорошо. Я приду.

— Анна, — адвокат замялся, и в его молчании она услышала то, что он не решался сказать вслух. — Я должен спросить. Ты уверена, что не хочешь пойти на мировую? Отказаться от компенсации морального вреда в обмен на его отказ от имущественных претензий? Он может согласиться.

— Нет.

— Это затянется на годы.

— Я знаю.

— Он будет изматывать тебя. Судами, исками, заявлениями. Он будет делать это, пока ты не сломаешься. Это его метод, ты же знаешь.

— Я знаю, — повторила она, и голос ее стал тверже. — Но, если я откажусь от компенсации, это будет означать, что ничего не было. Что тот вечер не случился. Что побоев не было. Что я все придумала. А я больше никогда не буду врать о том, что было. Ни себе, ни ему, ни суду.

Адвокат вздохнул, долго, устало, как человек, слышащий

это не в первый раз и знает, что спорить бесполезно. Она слышала, как он щелкнул зажигалкой, и представила его в темном кабинете, с сигаретой в зубах, с папками, разложенными на столе, с фотографиями ее синяков, которые он пересматривал уже сто раз.

— Понял. Тогда готовимся к слушанию.

Они обсудили детали еще минут десять, какие документы подготовить, на какие аргументы Кирилла можно рассчитывать, как отвечать на возможные провокации. Когда разговор закончился, Анна отложила телефон и посмотрела на Рокки. Пес спал, положив голову на лапы, и во сне шевелил бровями, будто спорил с кем-то. Может быть, с Кириллом. Может быть, с ней.

— Не отдам, — сказала она тихо, почти шепотом. — Ничего не отдам. Ни дома, ни тебя.

Пес вздохнул во сне и перевернулся на другой бок.

Ночью ей приснился Кирилл. Они сидели на веранде в Серебряном Бору, и вечер был теплым, совсем летним, хотя по календарю стоял сентябрь. В саду гудел триммер соседа, где-то лаяла собака, и пахло жасмином — густо, сладко, до головокружения. Этот запах всегда напоминал ей о доме, о безопасности, о том, что есть место, где можно спрятаться от всего.

Кирилл был в белой рубашке с закатанными рукавами, с бокалом красного вина в руке, и рассказывал какую-то историю из своего бизнеса — про партнера, который его подста-

вил, и про то, как он его «поставил на место». Она слушала вполуха, смотрела на сад, на яблони, которые уже начинали желтеть, и чувствовала, как его рука лежит у нее на колене — тяжело, уверенно, по-хозяйски. Эта тяжесть была ей знакома. Она не замечала ее раньше. Или не хотела замечать.

— Ты меня слушаешь? — спросил он, и в голосе появилась та нотка, которую она научилась распознавать слишком поздно.

— Конечно, — ответила она. — Ты говорил про Сергея.

— Я говорил про то, что нельзя доверять никому. Только себе. И мне.

Он повернулся к ней, и в свете веранды его лицо было красивым — правильные черты, четкая линия скул, темные глаза, которые умели смотреть так, что хотелось смотреть в них вечно. Она помнила это лицо. Помнила, как впервые увидела его в кафе на Кузнецком мосту, как он улыбнулся, и она подумала: «Вот он». Не знала, кто «он», но знала, что это важно.

— Ты моя, — сказал он. — Ты никуда не денешься.

Она проснулась от того, что Рокки ткнулся мокрым носом в ее ладонь. В комнате было темно, только луна светила в окно, делая стены серебряными, а старый диван каким-то призрачным, ненастоящим. Луна была полной, круглой, и ее свет ложился на пол, на стены, на лицо Анны, делая его бледным, как у призрака.

— Все хорошо, — сказала она, глядя его по лохматой го-

лове, по теплой, пахнувшей псиной и травой шерсти. — Все хорошо, старый.

Рокки вздохнул, положил голову ей на ноги и закрыл глаза. Часы на тумбочке — те самые, IWC Portugieser, которые она сняла на ночь, — показывали 3:17. Она смотрела на стрелки, на серебристый циферблат, на цифры, которые ничего не значили, кроме того, что время идет. Оно всегда идет. Даже когда кажется, что остановилось.

Анна села, обхватила колени руками, прижалась подбородком к коленям. Пес пошевелился во сне, но не ушел. Она сидела так до рассвета, глядя, как тени ползут по стенам, как луна медленно опускается за крыши домов, как первые серые лучи начинают пробиваться сквозь занавески. И слушала тишину. Ту самую, которая зияла пустотой. Которую она носила в себе уже два с половиной года. Которой так и не научилась бояться.

Глава 2. Первое дело

Ее первая самостоятельная операция случилась через полгода после начала стажировки. Она уже участвовала в выездах, сидела в штабе, слушала переговоры Громова, училась, запоминала, анализировала. Но все это было «на подхвате» — подать кофе, принести документы, не отвечивать. Она знала, что Громов проверяет ее на прочность, на терпение, на умение ждать. Она ждала. Она умела ждать. Этому ее научил еще отец: «Не дергайся. Не торопись. Твое время

придет».

Время пришло в ноябре. Позвонили из дежурной части, захват заложника в многоэтажке на юго-западе Москвы, недалеко от университета, где она училась. Мужчина забаррикадировался в собственной квартире, угрожает застрелиться и «прихватить с собой» тех, кто войдет.

— Поедешь? — спросил Громов. В его голосе не было сомнения. Был вопрос на знание: готова или нет.

— Поеду.

— Одна?

— Одна.

Он посмотрел на нее долгим взглядом, тем самым, который она выучила наизусть: оценивающим, профессиональным, без тени жалости или снисхождения. Потом кивнул.

— Хорошо. Докладывай.

Она ехала в стареньком УАЗе, выделенным из автопарка, сжимая в руках папку с материалами, и думала о том, что сказал профессор на последней лекции: «Переговорщик — это человек, который должен быть готов умереть в любой момент. Не потому, что он герой. А потому, что он встает между двумя мирами: миром живых и миром тех, кто готов умереть. И он должен показать, что не боится ни того, ни другого».

Она боялась. Но не показывала. За окном тянулись спальные районы — серые панельные многоэтажки, одинаковые, безликие, с редкими фонарями, которые тускло светили

сквозь мелкий ноябрьский дождь. Она считала этажи, подъезды, остановки. Это помогало не думать о том, что ждет впереди.

Дом стоял в глубине двора, окруженный такими же серыми, унылыми зданиями. Оцепление уже выставили, несколько полицейских машин, люди в форме, редкие любопытные из соседних домов, которые выглядывали из-за углов. Анна вышла из машины, поправила форму, достала удостоверение.

— Старший на месте? — спросила она у молодого лейтенанта.

— Вон, у подъезда.

Она подошла. Старшим оказался капитан, которого она не знала, — плотный, с усталым лицом и прокуренным голосом. Он посмотрел на нее с недоверием.

— Вы переговорщик?

— Я.

— Одна?

— Одна.

— А где полковник Громов?

— Полковник Громов отправил меня.

Капитан хотел возразить, но передумал. Кивнул.

— Ваш мужчина — Виктор, тридцать пять лет, бывший военный, участник боевых действий. Вернулся из «горячей точки» полгода назад. На прошлой неделе жена ушла, забрала ребенка. Он замкнулся, перестал выходить из дома. Сего-

дня соседи слышали выстрелы, стрелял в стену. Угрожает застрелиться.

— Оружие?

— Охотничий карабин. Заряжен. Патронов много.

— Требования?

— Никаких. Не хочет никого видеть. Говорит, что все равно умрет, и ему все равно, кто будет рядом.

Анна кивнула. Это был худший вариант, когда у преступника нет требований, кроме одного: дать ему умереть. С ними труднее всего. С ними нельзя торговаться. Их нельзя отменить деньгами, вертолетом, обещаниями. Их можно только пережить. Или не пережить.

— Я войду, — сказала она.

— Без бронежилета? — капитан поднял бровь.

— Без.

Она не объясняла. Она знала, что бронежилет говорит преступнику: «Я тебя боюсь». А бояться она не могла. Никогда.

Лестница пахла кошками, мочой и бедностью. Анна поднималась медленно, считая ступеньки. Четвертый этаж, квартира налево. Дверь железная, новая, с двумя замками, которую он, видимо, поставил сам. Из-за двери доносилась тишина, не та тишина, которая бывает в пустой квартире, а та, которая предшествует выстрелу. Она постучала. Три удара, коротких, ритмичных, негромких.

— Виктор, — сказала она. — Меня зовут Анна. Я пере-

говорящий. Я хочу поговорить с тобой.

Тишина.

— Я одна. Без оружия. Ты можешь посмотреть в глазок.

Молчание. Она ждала. Считала секунды. Десять, двадцать, тридцать.

— Уходи, — Голос из-за двери был глухим и почти безжизненным. — Я ни с кем не буду говорить.

— Я могу тебя выслушать.

— Мне не о чем говорить.

— Ты не прав. Всегда есть о чем поговорить.

— Ты не понимаешь.

— Я хочу понять.

Долгое молчание. Потом щелчок, дверь приоткрылась на цепочке. В щели блеснул глаз, серый, усталый, пустой. Глаз человека, решившего все.

— Ты слишком молода, — сказал он. — Ты не знаешь, что такое война. Ты не знаешь, что такое терять.

— Знаю, — сказала Анна. — Мой отец был военным. Он погиб, спасая чужих детей.

Он молчал. Глаз смотрел на нее, и в нем что-то менялось. Не доверие — нет, до доверия было далеко. Удивление.

— Заходи, — сказал он. — Только одна. И без глупостей.

Цепочка звякнула. Дверь открылась. Квартира была маленькой, заставленной старой мебелью, с выцветшими обоями и запахом пыли и запустения. На стенах были фотографии: он в военной форме, он с женой, он с маленькой девоч-

кой на руках. На полу гильзы. В углу карабин, направленный на дверь.

Виктор сидел на диване, опустив голову. Он был высоким, широкоплечим, но сейчас выглядел сломленным, плечи опущены, руки безвольно лежат на коленях, лицо бледное, с темными кругами под глазами.

— Зачем ты пришла? — спросил он, не поднимая головы.

— Поговорить.

— О чем?

— О твоей дочери.

Он вздрогнул. Поднял голову. В его глазах, серых, пустых, появилось что-то — боль, может быть, или надежда.

— Что... Дочь?

— Сколько ей?

— Четыре.

— Она любит тебя?

Он молчал. Потом кивнул.

— Она будет плакать, если ты умрешь.

— Она уже плачет. Мать забрала ее.

— Ты можешь ее вернуть. Если выживешь.

Он смотрел на нее, и в его глазах мелькнуло сомнение, то, что она искала. Сомнение в том, что смерть — это единственный выход.

— Ты не была там, — сказал он. — Ты не знаешь, что я видел.

— Расскажи.

Он рассказывал долго. О том, как горели дома. О том, как дети боялись даже хлеба, который им давали солдаты. О том, как друг подорвался на растяжке у него на глазах. О том, как он вернулся, а внутри — пустота. О том, что жена не понимала, почему он кричит по ночам. О том, что он сам не понимал. О том, что ему казалось, что война никогда не кончится, даже когда он вернулся домой.

Анна слушала, не перебивая. Она не давала советов. Не говорила, что все будет хорошо. Она просто сидела рядом и слушала.

— Я не хочу жить, — сказал он под конец.

— Я знаю.

— Тогда зачем ты здесь?

— Потому что я хочу, чтобы ты выбрал жизнь. Не для себя. Для дочери.

— Она меня не вспомнит. Я для нее чужой.

— Вспомнит. Если ты дашь ей шанс.

Он опустил голову. Молчал долго. Потом поднял глаза и посмотрел на нее. В его глазах, серых, усталых, она увидела что-то, чего не замечала раньше. Не сомнение. Не надежду. Удивление.

— Знаешь, — сказал он, и голос его дрогнул, — меня никто не хотел слушать. Жена, она говорила: «Ты ненормальный, иди к врачу». Соседи, они крестились, когда я выходил из подъезда. Свои же — те, кто вернулся, они не хотели вспоминать. А ты... ты пришла. Ты села. Ты выслушала. И

ты меня ни в чем не обвиняла. Даже когда я сказал, что хочу умереть. Даже когда я держал оружие.

Анна молчала. Она не знала, что ответить. Внутри нее что-то сжималось и разжималось — может быть, сердце, может быть, что-то другое, чему она не давала названия.

— Спасибо тебе, — сказал он. — За то, что не побоялась.

Она не ответила. Только кивнула. Он взял карабин. Ее сердце упало вниз, но она не пошевелилась. Не отшатнулась. Не закричала.

Он разрядил оружие, медленно, патрон за патроном. Патроны падали на пол с глухим стуком. Потом положил карабин на пол, закрыл лицо руками и заплакал.

— Все, — сказал он. — Все кончено.

Анна вышла на лестничную площадку, дала знак спецназу. Виктора увели. Жена не вернулась. Она была уже с другим, и возвращаться не собиралась. Но он не застрелился. Не взорвал дом. Не убил никого.

Она спустилась во двор. Капитан смотрел на нее с уважением.

— Ты молодец, — сказал он.

— Я сделала свою работу.

— Ты спасла человека.

Она не ответила. Она села в УАЗ, закрыла глаза и долго сидела, не двигаясь. Руки тряслись. Дышать было трудно. Потом она завела двигатель и поехала в управление. Громов ждал ее. Смотрел долго, не отрываясь.

— Ну как? — спросил он.

— Все хорошо.

— Ты плакала?

— Нет.

— Врешь.

Она молчала.

— Это нормально, — сказал Громов. — Поплачь. Никто не увидит.

Она заплакала. Сидела в его кабинете, пила остывший кофе и плакала, как девчонка. А он сидел напротив, молчал и не смотрел. Он знал, что ей нужно это пережить.

— Спасибо, — сказала она, когда слезы кончились.

— За что?

— Что научили.

— Не за что. Ты сама научилась.

Он улыбнулся. Она улыбнулась в ответ.

Глава 3. Цена одной жизни

Она не рассказывала об этом Кириллу. Не потому, что не хотела, а потому, что не могла. Слова застревали в горле, когда она пыталась произнести их вслух. Как объяснить человеку, который никогда не держал в руках оружия, не слышал взрывов, не видел, как жизнь покидает тело того, кто за секунду до этого улыбался тебе? Как рассказать о том, что ты чувствуешь, когда знаешь, что ты сделала все правильно, но кто-то все равно умер? И что этот кто-то — твой, твой чело-

век, твое прикрытие, твое доверие, твоя ошибка?

Она не рассказывала. Кирилл и не спрашивал. Он спрашивал только: «Когда ты вернешься?», «Где ты была?», «Почему не брала трубку?». Он не спрашивал: «Что ты видела?», «Ты в порядке?», «Что с тобой происходит?». И она думала, что это нормально. Мужчина не должен спрашивать о таких вещах. Мужчина должен быть опорой. А она должна быть сильной. Так устроен их мир. Но как сильно она ошибалась.

Та операция случилась через десять лет после ее первой самостоятельной работы. Октябрь, суббота, солнечный день, не предвещавший ничего плохо. Анна сидела в кабинете, разбирала документы по текущим делам, когда зазвонил телефон. Голос Громова был спокойным, слишком спокойным, и это ее насторожило. Она знала, что, когда Громов говорит слишком спокойно, значит, случилось что-то, что выбило его из колеи.

— Соболева, выезжай. Торговый центр на юго-западе. Захват заложников.

— Сколько?

— Двенадцать. Двое детей.

Она не помнила, как ехала. Трасса, пробки, мигалки, которые она включила, не спрашивая разрешения, дворы, по которым она срезала путь, как делала это сотни раз. В голове был только холодный, четкий расчет: двенадцать человек, двое детей, вооруженный преступник, возможно, взрывчатка. Она прокручивала варианты, прикидывала психологиче-

ский портрет, вспоминала похожие дела. Она не думала о том, что может пойти не так. Она не позволяла себе думать об этом.

Торговый центр она увидела издалека. Огромное здание из стекла и бетона, которое обычно сияло огнями и кипело жизнью, теперь стояло темное, оцепленное, с машинами спецназа у всех входов. Людей эвакуировали, но толпа зевак все равно собралась за ограждением, они снимали на телефоны, перешептывались, показывали пальцами. Анна прошла через кордон, предъявила удостоверение, и ее пропустили.

Штаб развернули в пустом кафе на первом этаже. Громов стоял у карты здания, что-то объяснял офицерам спецназа. Увидев ее, кивнул и подошел.

— Соболева, ситуация такая. Мужчина, около тридцати лет, вооружен охотничьим карабином. Пояс, он называет взрывчаткой. Эксперты пока не подтвердили, но исходим из худшего. Заложники в подвальном помещении, там же технические помещения, выходы только через главный вход и служебную дверь. Требуется вертолет, миллион долларов, вылет в неизвестном направлении.

— Он говорил с кем-нибудь?

— Нет. Только кричит. Требуется переговорщика.

— Я пойду.

— Я знаю. — Громов помолчал. — Без бронежилета?

— Без.

— Соболева...

— Полковник, — перебила она. — Вы меня знаете. Я не надену бронежилет. Он увидит и решит, что я его боюсь.

Громов посмотрел на нее долгим взглядом. В его глазах она увидела то, что видела уже много раз, уважение, смешанное с тревогой.

— Иди, — сказал он. — Но будь осторожна. Что-то мне подсказывает, что этот не из тех, кто сдается просто так.

Она вошла в подвал через служебный вход. Воняло сыростью, бетонной пылью, чем-то кислым, может быть, разлитой газировкой, может быть, страхом. Коридоры были узкими, тускло освещенными, с низкими потолками, на которых тянулись трубы и вентиляционные короба. Ее шаги гулко отдавались от бетонных стен, и ей казалось, что она идет не в торговый центр, а в какое-то другое место — подzemелье, бункер, преисподнюю.

Дверь в техническое помещение была открыта. Анна остановилась на пороге. В тусклом свете единственной лампы она увидела заложников. Женщины, мужчины, дети. Двенадцать человек, прижавшихся к стенам, сидящих на корточках, стоящих на коленях. Двое детей — девочка лет восьми с косичками, мальчик лет пяти в синей куртке — сидели в углу, прижавшись друг к другу. Девочка обнимала брата и смотрела на Анну огромными, полными ужаса глазами.

Преступник стоял у дальней стены, карабин направлен на заложников. Он был молод, лет тридцать, не больше, с блед-

ным лицом, впалыми щеками и лихорадочным блеском в глазах. На поясе самодельное устройство, обмотанное скотчем, с торчащими проводами. Анна оценила его за секунду: не спал несколько дней, не ел, на грани истощения, но пальцы на спусковом крючке держит уверенно. Опасен. Очень опасен.

— Меня зовут Анна, — сказала она, входя в помещение. Голос ее был спокойным, ровным, без тени страха. — Я здесь, чтобы помочь.

— Помочь? — Он засмеялся, и смех его был хриплым, надтреснутым, как у человека, который давно не пил воды. — Ты пришла помочь? Мне никто не может помочь.

— Расскажи мне, — сказала она. — Что случилось?

Он рассказал. Мать умерла, когда он был маленьким. Отец пил. Жена ушла, забрала дочь. Работу потерял. Долги. Одиночество. Он говорил быстро, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, и Анна слушала, не перебивая. Она стояла в трех метрах от него, держа руки на виду, и смотрела ему в глаза. Она не боялась. Или боялась, но не позволяла страху просочиться в голос.

— Я не хотел никого убивать, — сказал он под конец, и голос его дрогнул. — Я хотел, чтобы меня слышали.

— Я тебя слышу, — сказала Анна. — Но сейчас здесь есть люди, которые боятся. Которые хотят домой. Ты же не хочешь, чтобы им было страшно?

— А мне страшно, — сказал он. — Тебе не страшно? Ты

всегда такая спокойная? Ты что, не боишься смерти?

— Боюсь, — сказала Анна. — Но я знаю, что, если я покажу свой страх, тебе станет страшнее. А я не хочу, чтобы тебе было страшно. Я хочу, чтобы ты успокоился, и мы могли поговорить.

Он поднял взгляд. В его глазах, красных, воспаленных, она увидела то, что искала, надежду. Маленькую, хрупкую, почти задушенную отчаянием, но живую.

— Ты не похожа на полицейского, — сказал он.

— Я психолог. Я учусь понимать людей.

— И ты меня понимаешь?

— Я пытаюсь.

Они говорили четырнадцать часов. Четырнадцать часов в подвале без окон, без свежего воздуха, под одной тусклой лампой, которая мигала каждые полчаса, заставляя ее сердце замирать. Четырнадцать часов она стояла, сидела на корточках, прислонялась к стене и все это время говорила, слушала, ждала. Она пила только воду, которую приносили через служебный вход. Она не ела, не спала, не отключалась ни на секунду.

Она уговаривала его отпустить детей. Он не хотел.

— Они дети, — говорила она. — Они не понимают, что происходит. Им страшно. Они хотят к маме.

— Моя дочь тоже хочет ко мне, — сказал он. — А я не могу ее забрать. Жена не дает.

— Если ты отпустишь этих детей, я поговорю с твоей же-

ной. Я попрошу ее разрешить тебе видеться с дочкой. Обещаю.

Он отпустил. Сначала девочку. Потом мальчика. Потом двух женщин, у одной была астма, ей нужен был ингалятор.

— Ты держишь слово? — спросил он, когда последняя заложница вышла.

— Держу.

— А если ты врешь?

— Я не вру. Это моя работа — говорить правду.

Он усмехнулся. Но в усмешке не было злобы. Была усталость. Такая огромная, что, казалось, он сейчас просто рухнет на бетонный пол и заснет.

— Ты хороший человек, — сказала Анна. — Ты просто устал.

— Я не хочу в тюрьму.

— Ты не пойдешь в тюрьму, если сдашься сейчас. Я обещаю.

Он смотрел на нее долго. Очень долго. Потом положил ружье на пол, снял пояс, отстегнул его дрожащими руками. Встал на колени и поднял руки.

Анна сделала знак спецназу, ждавший ее за дверью. Они вошли, скрутили его, увели. Он не сопротивлялся. Только смотрел на нее через плечо, пока его выводили, и в его глазах было что-то, что она не могла прочитать. Может быть, благодарность. Может быть, надежда. Может быть, прощание.

Она вышла из подвала. Свежий воздух ударил в лицо, и

она зажмурилась от яркого света, хотя на улице уже была ночь, и горели только прожекторы и фары машин. Кто-то подхватил ее под руку, усадил на ступеньки, сунул в руки стакан с водой. Она пила и смотрела, как увозят заложников, на носилках, в машинах скорой помощи, просто пешком, поддерживаемые под руки. Живые. Все живые.

Двенадцать человек. Она спасла двенадцать человек.

Она не знала тогда, что ее прикрытие, молодой капитан, который должен был прикрывать ее со стороны служебного входа, не вернулся.

Она узнала об этом через час. Вертолет с ранеными улетел на взлетную площадку за торговым центром. Она не поехала с ними, была нужна для дачи показаний. Она сидела в штабе, диктовала протокол, когда вошел Громов. Он был бледен, молчал, смотрел в пол.

— Что? — спросила она.

— Капитан Зуев. Твое прикрытие.

— Что с ним?

— Он не знал, что преступник заминировал дверь. Рванул ее, когда поступила команда на штурм. Взрывом оторвало ноги. Он умер в вертолете по дороге в больницу.

Она не помнила, что было дальше. Говорят, она потеряла сознание. Говорят, ее увозили на скорой, ставили капельницу, проверяли сердце. Она не помнила. Она помнила только лицо капитана Зуева, молодого, двадцати пяти лет, с веснушками на носу и детской улыбкой. Он принес ей кофе пе-

ред тем, как она вошла в подвал, и сказал: «Держитесь, Анна Сергеевна. У вас получится». Она улыбнулась ему и сказала: «Спасибо, капитан».

Она не помнила его имени. Не знала, что у него осталась жена и маленький сын, об этом она узнала на похоронах.

Комиссия признала ее действия ошибочными. Она пошла на неоправданный риск, нарушила протокол, подвергла опасности сотрудников. Если бы она согласилась на штурм раньше, если бы не тянула время, если бы не пыталась уговорить преступника сдаться, а позволила спецназу войти, капитан Зуев был бы жив.

Она не спорила. Она знала, что это правда. Она выбрала жизнь двенадцати заложников. Ценой жизни своего прикрытия. И эта цена будет с ней всегда.

Ее уволили. Не сразу, а через три месяца внутренних разбирательств, показаний, бесконечных вопросов. Ее вызывали на комиссии, заставляли пересматривать записи переговоров, давать объяснения. Она отвечала спокойно, четко, как учили: только факты, только то, что видела, только то, что слышала. Никаких оправданий. Никаких слез.

Громов пытался ее защитить. Он говорил, что она спасла двенадцать жизней, что риск был оправдан, что капитан Зуев знал, на что идет. Но комиссия была непреклонна. «Нарушение протокола, — повторяли они. — Гибель сотрудника. Отстранение».

В день, когда ей объявили об увольнении, она вышла из

здания управления, села в машину и поехала в центр. Она не знала, куда едет. Она просто ехала, смотрела на огни, на витрины, на людей, которые спешили по своим делам, и не чувствовала ничего. Пустота. Та самая пустота, о которой предупреждал Громов.

Она остановилась у ювелирного магазина на Кузнецком мосту. Вошла, попросила показать часы. Продавец, пожилой мужчина с аккуратной бородкой, достал из витрины IWC Portugieser с серебристым циферблатом. Часы были дорогими, она никогда не тратила столько на себя. Но сейчас ей нужно было что-то, что напоминало бы ей, что она спасла двенадцать человек. Не убила, не предала, не струсилa. Спасла. Но какой ценой...

— Беру, — сказала она.

Продавец посмотрел на нее с удивлением, она была в форме, с усталым лицом, и не выглядела как покупательница дорогих часов. Но он не задавал вопросов. Завернул часы в бархатную коробку и положил в пакет.

С тех пор она носила их каждый день. Не снимала даже дома. Часы стали ее якорем, ее напоминанием о том, что она может больше, чем думает. Что даже когда все идет не так, она способна спасти двенадцать жизней. И что цена этих жизней — ее собственная боль, которую она будет носить в себе всегда.

Она никогда не рассказывала об этом Кириллу. Он знал, что ее уволили, знал, что была какая-то операция, но не знал

деталей. Когда он спрашивал, она отмалчивалась. Это была ее боль, ее вина, ее память. И она не хотела делить ее ни с кем.

Через год после увольнения она получила письмо. Жена капитана Зуева, молодая женщина с двумя косичками на фотографии, которую она приложила к письму, писала: «Я не виню вас. Вы спасли двенадцать человек. Мой муж погиб, выполняя свой долг. Я хочу, чтобы вы знали, что он гордился вами. Он говорил, что вы лучший переговорщик, которого он видел. И что, если бы ему пришлось выбирать, он бы снова пошел с вами».

Анна плакала. Плакала в первый раз после той операции. Сидела на кухне, держа в руках письмо, и плакала так, что Рокки, который был тогда еще щенком, прибежал из другой комнаты, лизнул ее в щеку и улегся рядом, положив голову ей на колени.

Она засунула письмо в коробку с документами и больше никогда его не открывала. Но помнила каждое слово.

Глава 4. Как все начиналось

С Кириллом она познакомилась за год до той операции. Случайно. В кафе на Кузнецком мосту, куда она забежала между выездами, чтобы выпить кофе и съесть круассан, потому что в управлении кормили отвратительно, а ей нужно было что-то затолкать в себя перед двенадцатичасовым дежурством. Она стояла у стойки, листая меню, когда услыша-

ла за спиной голос, низкий, уверенный, с легкой хрипотцой, которая появляется у тех, кто много говорит по телефону.

— Извините, вы не подскажете, сколько времени?

Она обернулась. Мужчина был высоким, хорошо одетым — темно-синий костюм, белая рубашка без галстука, дорогие часы на запястье, которые она отметила автоматически, по привычке. Лицо — правильные черты, четкая линия скул, темные глаза, которые смотрели на нее с легким любопытством. В нем не было той нарочитой лощености, которая бывает у людей, старающихся произвести впечатление. Он выглядел человеком, которому не нужно ничего доказывать.

— Половина второго, — ответила она.

— Спасибо.

Он улыбнулся. Улыбка была открытой, теплой, и Анна почувствовала, как что-то екнуло у нее внутри. Она не позволяла себе таких реакций обычно, ни при работе, не в форме, не в кафе, где ее могли узнать. Но сейчас она была не на работе. И форма осталась в машине, вместе с удостоверением и чувством долга.

— Вы часто здесь бываете? — спросил он.

— Иногда. После работы.

— Вы работаете где-то рядом?

— Да.

Она не уточняла где. Не хотела пугать. Мужчины часто пугались, когда узнавали, что она из МВД. Кто-то начинал нервничать, кто-то задавать дурацкие вопросы про оружие

и убийц, кто-то сразу терял интерес. Она не любила этого. Ей хотелось, чтобы ее воспринимали как женщину, а не как представителя опасной профессии.

Он представился, Кирилл, владелец сети фитнес-клубов. Она назвала свое имя. Сказала, что работает в МВД, но не уточнила кем. Он не стал расспрашивать. Спросил, какой кофе она любит, и заказал ей еще одну чашку.

Они разговорились. Он рассказывал о бизнесе, о том, как трудно начинать с нуля, как ему приходилось спать в офисе, потому что не было денег на квартиру, как он ездил на переговоры на метро, потому что не мог позволить себе такси. Она слушала, кивала. В нем не было той легкости, которая бывает у людей, которым все досталось даром. Он был тем, кто строил себя сам.

— А вы? — спросил он. — Как вы пришли к своей работе?

— Это долгая история, — сказала она.

— У нас есть время.

Она посмотрела на часы. Времени не было, через сорок минут ей нужно быть на выезде. Но она сказала:

— Я училась на психолога. Хотела понимать людей. А потом поняла, что лучше всего люди раскрываются в кризисных ситуациях. Когда им страшно, когда они на грани, они становятся настоящими. И я хотела помогать им в такие моменты.

Он смотрел на нее внимательно, не отводя глаз. В его

взгляде не было испуга, а было уважение.

— Вы помогаете людям, — сказал он. — Это важно.

— Я пытаюсь.

Они обменялись номерами. Она не думала, что он позвонит. Такие мужчины, как он — успешные, красивые, уверенные, — обычно не звонят женщинам, которые пьют кофе в одиночестве в кафе на Кузнецком мосту. У них есть другие женщины. Другие возможности. Другие жизни.

Но он позвонил. Через два дня.

— Анна, — сказал он. — Я хочу вас пригласить на ужин. Не в кафе. К себе.

Она приехала. Квартира на Патриарших, большая, светлая, с высокими потолками и видом на пруд. Он готовил сам, пасту с морепродуктами, салат с рукколой и пармезаном, тирамису на десерт. Она сидела на кухне, смотрела, как он режет овощи, и чувствовала, что ей спокойно.

— Вы всегда готовите сами? — спросила она.

— Когда есть время. Когда нет — заказываю. Но сегодня есть время.

— Для меня?

— Для вас.

Она покраснела. Она не краснела уже много лет. Ей было тридцать два, она была взрослой женщиной, опытным переговорщиком, видевшим смерть, кровь, отчаяние. Но перед этим мужчиной с темными глазами и уверенными руками она чувствовала себя девчонкой на первом свидании.

Они говорили до полуночи. О книгах, о фильмах, о путешествиях. Он много путешествовал — Италия, Франция, Таиланд. Она почти не путешествовала, работа занимала все время. Он обещал показать ей мир. Она улыбалась и думала, а ведь он действительно может.

Они встречались полгода.

Он помнил все. Как она пьет кофе. Какую музыку любит. Даже белые пионы — те, что она однажды упомянула в разговоре. Ужины при свечах, которые он готовил сам, потому что «в ресторанах не чувствуется дома». Поездки за город — в Суздаль, во Владимир, в маленькие городки, где никто их не знал и где они могли гулять, держась за руки, как обычные влюбленные.

Он запомнил, как она пьет кофе (черный, без сахара), какую музыку любит (джаз, но не слишком сложный), какие книги читает (психологическую прозу, иногда детективы). Он был идеальным. И она думала, наконец-то. После десяти лет нервов покой. Или ей только так казалось.

Он сделал предложение через шесть месяцев после знакомства. Не романтично, без колец и коленопреклонений. Просто сказал: — Выходи за меня. Я хочу быть с тобой всегда.

Она согласилась. И не пожалела ни разу — тогда... Сейчас, сидя в съемной квартире на Ленинском, слушая, как Рокки храпит в углу, она думала, а зря ли? Зря ли она сказала «да»?

Или все было правильно, и этот путь через любовь, через боль, через суды и иски, был единственно возможным? Она не знала. Может быть, никогда не узнает.

Свадьба была скромной, в кругу близких. Ее подруги, две однокурсницы, которые остались в ее жизни, несмотря на то что она редко их видела. Его друзья, партнеры по бизнесу, солидные мужчины в дорогих костюмах, которые пили коньяк и говорили о деньгах. Они расписались в зале номер тринадцать на Тверской, в том самом, где через двенадцать лет Кирилл будет держать заложников.

Она была в белом платье, простом, элегантном, без кружев и воланов. Он, в темно-синем костюме, с бабочкой, которая делала его похожим на голливудского актера. Она смеялась, он смотрел на нее и улыбался. На фотографиях она была счастливой. Настоящей. Живой.

— Я люблю тебя, — сказал он, когда они выходили из загса.

— Я тоже, — ответила она.

Она верила. Она верила каждому слову.

Первый год был идеальным. Они жили в съемной квартире на Патриарших, потому что дом в Серебряном Бору еще строился. Кирилл много работал, его сеть фитнес-клубов расширялась, он ездил по переговорам, подписывал контракты, спорил с партнерами. Она, тоже много работала, выезжала на операции, возвращалась поздно, падала с ног.

Они встречались по вечерам. Ужинали, смотрели филь-

мы, разговаривали. Он никогда не ревновал к ее работе, не требовал отчетов, не проверял телефон.

— Тебе не страшно? — спросила она однажды. — Моя работа. Я часто уезжаю, не звоню по несколько часов.

— Мне страшно за тебя, — сказал он. — Но я не могу запретить тебе делать то, что ты любишь.

— А что, если я приду домой в крови? Если меня ранят? Если я не вернусь?

Он взял ее за руку. Посмотрел в глаза.

— Тогда я буду ждать. Всю жизнь.

Она подумала, как же повезло. Как мне повезло.

Дом в Серебряном Бору построили через два года. Она сама выбирала проект. Спорила с архитектором, молодым, самоуверенным, который считал, что женщина не может разбираться в планировках. Доказывала, что кухня должна быть большой, потому что она любит готовить, а ванная с окном, потому что она не выносит темноты. Она ездила на стройку каждую субботу, надевала каску, ходила по голым стенам, проверяла, как идет кладка, как стоят перекрытия, как проведены коммуникации. Прорабы сначала косились на нее, потом привыкли, потом начали советоваться.

— Анна Сергеевна, а как вам кажется, где лучше поставить розетки на веранде?

— У перил, справа. Там будем сидеть вечером, нужен свет.

Она продумала все до мелочей. Сад с гортензиями и жас-

мином, потому что она любила их запах. Веранду с видом на запад, чтобы видеть закат. Камин настоящий, дровяной, чтобы зимой можно было сидеть у огня и читать.

Когда дом был готов, она плакала. Стояла посреди пустой гостиной, смотрела на стены, которые помнила голыми, на окна, которые помнила черными проемами, и чувствовала, что это ее. Ее дом. Ее место. Ее жизнь.

Кирилл обнял ее со спины, поцеловал в макушку.

— Нравится?

— Очень.

— Я рад.

Она не знала тогда, что этот дом станет ее тюрьмой. Что стены, которые она выбирала с любовью, будут давить на нее, когда он начнет проверять телефон. Что веранда, где они сидели по вечерам, станет местом, где она будет плакать в одиночестве. Что камин, перед которым она мечтала читать книги, будет гореть в ночь, когда он ее ударит, и она будет смотреть на огонь и думать, как я сюда попала?

Она не знала. Она была счастлива.

Глава 5. Первые тревожные звоночки

Переезд в Серебряный Бор стал рубежом. Анна помнила этот день во всех подробностях, как грузчики таскали коробки из фургона в дом, как Рокки, тогда еще щенок, путался под ногами и радостно лаял на каждую новую вещь, как пахло деревом и краской, новостройка, еще не обжитой

дом, который предстояло наполнить жизнью. Кирилл был в хорошем настроении, командовал, куда ставить мебель, сам вешал картины — абстракции, которые привез из командировки в Милан. Она смотрела на него и думала, вот оно. Наше. Навсегда.

Но что-то изменилось. Она не заметила этого сразу, изменения были слишком тонкими, слишком постепенными, как песок, сыплющийся в песочных часах, минута за минутой, час за часом, пока ты не понимаешь, что прошел уже целый день, а ты ничего не сделал.

Сначала это были мелочи. Такие мелкие, что она списывала их на усталость, на стресс от переезда, на его сложный бизнес, требующий все больше времени и нервов.

— Ты куда? — спросил он однажды вечером, когда она собиралась на встречу с подругой.

— К Свете. Мы давно не виделись.

— Зачем тебе Света? Она тебе не нужна. У тебя есть я.

Анна замерла. Света была ее подругой еще с университета, единственной, кто остался рядом после того, как жизнь разбросала их по разным городам. Они виделись раз в месяц, не чаще, но эти встречи были для нее важны. Света не задавала лишних вопросов, не лезла в душу, не осуждала. Просто была рядом.

— Она моя подруга, — сказала Анна. — Я ее люблю.

— Меня тебе недостаточно?

Вопрос прозвучал не зло, а скорее обиженно, по-детски.

Анна посмотрела на него. Кирилл сидел на диване, смотрел телевизор, даже не обернулся. Голос был спокойным, почти равнодушным. Но она почувствовала в нем что-то, что заставило ее замереть.

— Кирилл, не начинай.

— Я не начинаю. Я просто спрашиваю. Тебе обязательно куда-то идти? Мы могли бы поужинать вместе, посмотреть фильм.

— Мы каждый вечер ужинаем вместе и смотрим фильмы.

— И что? Тебе надоело?

— Нет. Но я хочу увидеть Свету.

Он промолчал. Она поехала. Всю дорогу прокручивала в голове этот разговор и думала, а что это было? Ревность? Усталость? Обычная мужская собственническая привычка, которая пройдет, когда он привыкнет, что у нее есть своя жизнь?

Она не знала. Она не хотела знать.

Через месяц он повторил. С другой подругой, с которой она собиралась в театр. Снова: «Зачем тебе?», «У тебя есть я», «Мы могли бы провести вечер вместе». Она поехала снова. Но чувство было другим, тревожным, липким, как паутина, которая опутывает лицо, когда идешь по лесу.

Потом он начал проверять ее телефон. Не тайком, а открыто, при ней. Сидел на диване, листал ее сообщения, просматривал фотографии, читал переписку с коллегами.

— Дай посмотреть, — говорил он, протягивая руку.

— Кирилл, это моя личная переписка.

— Я твой муж. Я имею право знать.

Она отдавала. Скрывать было нечего. Но внутри закипало раздражение, которое она гасила, потому что не хотела ссоры. Она была переговорщиком, она умела гасить конфликты. Гасила и этот.

— Ты слишком много общаешься с Громовым, — сказал он однажды, читая ее сообщения с бывшим начальником.

— Он мой наставник. Мы работали вместе пятнадцать лет.

— Он мужчина.

— Ему шестьдесят лет. У него жена и внуки.

— Мне все равно.

Она забрала телефон, выключила экран, посмотрела на него. В его глазах было что-то, чего она раньше не видела. Не ревность, нет, ревность была бы понятной, объяснимой, с ней можно работать. Это было другое. Потребность в контроле. Желание знать все. Быть единственным.

— Кирилл, — сказала она. — Ты мне доверяешь?

— Да.

— Тогда зачем тебе проверять мой телефон?

— Потому что я хочу быть уверен.

— В чем?

— В том, что ты моя.

Она не нашлась, что ответить. Это было одновременно и признанием в любви, и требованием собственности. Она не

знала, как на это реагировать. Она знала только одно, она устала. Устала от работы, от бесконечных операций, от людей, которые хотели умереть или убить. И сейчас, дома, она не хотела бороться. Она хотела покоя.

Она отдала телефон.

Потом он начал диктовать, как ей одеваться.

— Это слишком вызывающе, — сказал он о ее любимом красном платье, которое она носила на свидания в первые годы их отношений. Платье было длинным, закрытым, с рукавами и ничего вызывающего в нем не было. Но Кирилл смотрел на него с таким выражением, будто она собиралась надеть бикини в суд.

— Оно мне нравится, — сказала она.

— Ты нравишься мне. А в этом платье на тебя смотрят другие.

— Кто?

— Мужчины. Я не хочу, чтобы на тебя смотрели.

Она перестала его носить. Платье висело в шкафу, накрытое чехлом, как экспонат в музее. Иногда, когда Кирилла не было дома, она открывала шкаф, снимала чехол, проводила рукой по шелку. Вспоминала, как он смотрел на нее, когда она впервые надела это платье. «Ты прекрасна», — сказал он тогда. Теперь он говорил: «Сними».

Потом он начал говорить о ее прическе.

— Ты красивее, когда волосы распущены, — сказал он.

— Не собирай их в пучок.

Она перестала собирать. Ходила с распущенными волосами, которые лезли в глаза, мешали работать, путались под курткой. Но он был доволен. Он гладил ее по волосам, целовал в макушку, говорил: «Вот так. Ты моя».

— Тебе идет синий, — сказал он. Она купила синий свитер.

— Ты лучше выглядишь без косметики. Она перестала краситься.

— Ты слишком много работаешь. Она сократила часы.

Она не замечала. Или не хотела замечать. Она списывала на усталость, на его сложный бизнес, на то, что он просто заботится о ней. Она, которая умела читать людей как открытые книги, которая видела ложь на расстоянии, которая распознавала манипуляцию в первые секунды разговора, — она не видела того, что происходило в ее собственном доме.

Потому что дома она выключала «сканер». Потому что двадцать лет работы научили ее, в личной жизни не надо быть переговорщиком. Надо быть женой. Надо доверять. Надо любить.

Она любила. Он любил. Или думал, что любит.

Потом он начал унижать ее работу. Сначала это были невинные замечания, которые можно было принять за шутку.

— Ты сегодня опять с бандитами разговаривала? — спрашивал он, когда она возвращалась домой.

— Да. Сложный случай.

— И как, уговорила его сдаться?

— Уговорила.

— Молодец. А меня ты уговорить не можешь.

Он смеялся. Она улыбалась. Но внутри закипало что-то неприятное, похожее на обиду. Потом шутки стали жестче.

— Твоя работа — это не работа. Это адреналиновая зависимость. Ты просто не можешь сидеть на месте.

— Я спасаю жизни, — ответила она однажды.

— Ты думаешь, что спасаешь мир, — усмехнулся он. — А на самом деле просто играешь в героя.

Она замолчала. Спорить было бесполезно. Она знала, если начнет доказывать, он найдет способ обесценить ее аргументы. Он всегда находил. Он был мастером обесценивания — не агрессивного, не грубого, а такого, мягкого, почти незаметного, когда тебе кажется, что ты сама пришла к выводу о собственной ничтожности.

Она стала меньше рассказывать о работе. Потом перестала рассказывать совсем. Он не замечал.

— Как прошел день? — спрашивал он по вечерам.

— Нормально.

— Что делала?

— Ничего особенного.

Он кивал и переключался на телевизор. Ей казалось, что так проще. Меньше вопросов, меньше риска нарваться на очередное обесценивание. Она не понимала, что уже попала в ловушку. Что молчание — это первый шаг к исчезновению.

Рокки появился на пятый год брака. Она взяла щенка, потому что хотела собаку. Кирилл не возражал. «Хочешь — бери», — сказал он равнодушно. Она приехала к заводчику в Подмосковье, выбрала самого лохматого, самого неуклюжего, серо-белый комок шерсти с голубыми глазами и огромными лапами, в которых он путался. Щенок ткнулся носом в ее ладонь и лизнул. Она поняла это он.

Он рос быстро. Из пушистого комка превратился в большого, серьезного пса с умными глазами и философским выражением морды. Он был преданным, спокойным, умным. И он чувствовал то, чего не чувствовала она.

Анна заметила это не сразу. Сначала ей казалось, что Рокки просто не любит Кирилла, как иногда собаки не любят конкретных людей без видимой причины. Но потом она поняла, пес чувствует напряжение. Когда Кирилл повышал голос, пес подходил к ней и ложился у ног, спиной к Кириллу, как будто заслонял ее. Когда Кирилл входил в комнату, Рокки напрягался, следил за ним глазами, не отходил от Анны.

— Он тебя охраняет, — сказал Кирилл однажды с усмешкой. — От кого?

— Не знаю, — ответила Анна. — От чужих.

— А я чужой?

— Ты свой.

Она погладила Рокки по голове. Пес вздохнул и положил голову ей на колени. Кирилл смотрел на них и улыбался. Но улыбка была странной, не теплой, а какой-то... оцениваю-

щей. Как будто он решал, что делать с этим псом, который встал между ними.

Анна не придавала значения. Она знала собаки чувствуют настроение. Кирилл был в плохом настроении, Рокки это улавливал. Все нормально.

Она не знала, что собака чувствует то, чего не чувствовала она. Не знала, что пес слышит, как учащается ее сердцебиение, когда Кирилл входит в комнату. Не знала, что он видит, как она замирает, когда муж повышает голос. Не знала, что он помнит каждый крик, каждую ссору, каждую ночь, когда она не спала.

Она не знала. Или не хотела знать.

Через год после появления Рокки она начала замечать, что ее мир сузился. Она больше не встречалась с подругами. Света звонила, но Анна придумывала отговорки, что устала, много работы, болит голова. Света обижалась, потом перестала звонить. Анна не винила ее. Кто захочет дружить с человеком, постоянно говорящим «нет»?

Она больше не ходила в театры, на выставки, в кино. Кирилл говорил: «Пойдем лучше в ресторан», — и они шли в ресторан. Потом он говорил: «Давай останемся дома», — и они оставались дома. Потом он говорил: «Ты устала, тебе нужно отдохнуть», — и она отдыхала. Сидела на диване, смотрела телевизор, гладила пса.

Она больше не звонила коллегам. Громов звонил сам, интересовался, как дела. Она отвечала: «Нормально». Он не

верил, но не давил. Он знал, что, когда она будет готова, она расскажет.

Она не была готова. Не знала, что рассказывать. Что она живет с мужчиной, проверяющий ее телефон? Что он запрещает ей носить любимые вещи? Что он критикует ее работу, ее друзей, ее жизнь? Что она перестала быть собой?

Она не знала. Или не хотела знать.

Однажды, вернувшись с операции поздно ночью, она застала Кирилла на кухне. Он сидел в темноте, пил виски, смотрел в стену.

— Ты чего не спишь? — спросила она.

— Жду тебя.

— Зачем? Я же сказала, что вернусь поздно.

— Ты всегда возвращаешься поздно. Ты всегда на работе. Ты всегда не со мной.

Она подошла, обняла его. Он не ответил. Сидел, напряженный, как струна.

— Кирилл, — сказала она. — Я здесь. Я с тобой.

— Ты не здесь. Ты там. С ними. С бандитами, с убийцами, с теми, кто тебе важнее меня.

— Это не так.

— А как?

Она не знала, что ответить. Потому что в чем-то он был прав. Ее работа была важна для нее. Она спасала жизни. Она делала то, что умела лучше всего. Но разве это означало, что он ей не важен? Она села рядом, взяла его за руку.

— Я люблю тебя, — сказала она. — Ты — моя семья. Но работа — это часть меня. Ты же знал, когда женился.

— Я думал, что ты изменишься.

— Почему?

— Потому что, когда женщина выходит замуж, она должна думать о семье. А не о бандитах.

Она замолчала. Внутри нее что-то оборвалось. Не сердце, а что-то другое, более хрупкое. Надежда, может быть. Или вера в то, что ее любят такой, какая она есть.

— Я не изменюсь, — сказала она. — Я не хочу меняться.

— Тогда зачем ты вышла за меня? — спросил он.

Она не ответила. Встала, пошла в спальню и легла. Рокки пришел за ней, улегся рядом, положил голову ей на ноги. Она гладила его и смотрела в потолок, пока не рассвело.

Она не знала тогда, что это был первый звонок. Не тот, который можно игнорировать. А тот, после которого нужно бежать. Она не побежала. Она осталась. И оставалась еще два года, до того вечера, когда он ударил ее в первый раз.

Глава 6. Тот вечер

Анна помнила каждую деталь. Каждую, до последней трещинки на потолке, до последнего звука, до последнего удара, отозвавшегося в ней болью, страхом и чем-то еще, черным, липким, что поселилось в груди и не уходило до сих пор.

Операция длилась четырнадцать часов. Мужчина с ножом захватил жену в собственной квартире на юго-западе

Москвы. Он требовал, чтобы к нему приехала теща, которая, по его мнению, разрушила их брак своими советами, своим вмешательством, своей нелюбовью к нему. Теща была в другом городе и не собиралась никуда ехать. Она сказала по телефону: «Пусть сам разбирается. Он взрослый человек». Она не понимала, что ее зять не взрослый человек, а рассыпающийся на части, вооруженный отчаянием и кухонным ножом, который он купил вчера в магазине у дома.

Анна уговаривала его четырнадцать часов. Она помнила каждый час. Как он кричал в первые два часа, требовал, угрожал, обещал перерезать жене горло, если теща не придет. Как она говорила ему: «Она не придет. Но я здесь. Я могу тебя выслушать». Как он плакал на пятый час и рассказывал, как они познакомились, как он любил ее, как строил отношения, как теща всегда была против, как она называла его «неудачником» и «никчемным». Как он затих на восьмой час и сидел на кухне, опустив голову, нож лежал на столе, жена плакала в углу. Как она уговаривала его отпустить жену, хотя бы ее, хотя бы на минуту, чтобы она могла выйти в туалет, попить воды, позвонить матери. Как он не соглашался. Как она продолжала говорить.

Анна не ела. Пила только воду, маленькими глотками, чтобы не пересохло в горле. Голос не срывался. Она тренировалась годами. Она могла говорить сутками, не сбиваясь, не повышая тона, не показывая усталости. Это была ее работа. Ее призвание. Ее проклятие.

На двенадцатый час он сдался. Вышел из квартиры, положил нож на пол, опустился на колени. Жена была жива. Не ранена. Только напугана. Анна стояла в коридоре, смотрела, как его уводят, и чувствовала пустоту, не облегчение, нет, облегчение придет позже, когда она сядет в машину и выдохнет. Пока была только пустота. И усталость. И желание спать.

Она не поехала в управление. Не стала писать рапорт. Сказала Громову: «Я завтра все оформлю. Можно?» Он посмотрел на нее и кивнул. Он видел, что она на пределе. И он понимал, когда не надо давить.

Она села в машину и поехала домой.

Было три часа ночи. Москва спала, не той глубокой, безмятежной тишиной, которая бывает в маленьких городах, а той напряженной, настороженной тишиной, когда город замирает, чтобы через несколько часов снова взорваться движением, светом, шумом. Улицы были пустыми, фонари горели желтым, и тени от них ложились на асфальт длинными, искаженными полосами. Анна ехала медленно, не спеша. Ей нужно было время, чтобы переключиться. Чтобы перестать быть переговорищиком и снова стать женой.

Она не знала, что дома ее ждет не ужин, не теплые объятия, не поцелуй в щеку. Она не знала, что переступает порог, за которым ее жизнь разделится на «до» и «после».

Она вошла в дом. Рокки встретил ее в прихожей, тихо, без лая, только вильнул хвостом и ткнулся носом в ладонь. Он

был напряжен. Она почувствовала это по его телу, жесткому, настороженному, по тому, как он прижимался к ней, будто хотел защитить.

— Все хорошо, — прошептала она, глядя его по голове.
— Все хорошо, я дома.

Кирилл сидел на кухне. В темноте. Свет не горел, только лампа над столом, маленький желтый круг, в котором он сидел, как в клетке. Перед ним стоял бокал виски, почти пустой. Бутылка рядом, тоже почти пустая. Он смотрел на дверь.

— Где ты была? — спросил он. Голос был спокойным, но она знала этот спокойный голос. Она слышала его у преступников перед тем, как они бросались на спецназ. Это был голос человека, принявшего решение.

— На операции, — сказала она, снимая куртку. — Я говорила. Сложный случай.

— Ты не отвечала на звонки.

— Я не могла. Я была на связи с преступником четырнадцать часов.

— Четырнадцать часов, — повторил он. — Ты не могла найти минуту, чтобы сказать мне, что ты жива?

— Не могла. Ты же понимаешь.

— Я ничего не понимаю.

Он встал. Медленно, тяжело, опираясь руками о стол. Она заметила, что он пьян, но не сильно, не до бессознательного состояния, но достаточно, чтобы тормоза отказали, а ин-

стинкты вышли на поверхность.

— Я сижу здесь с восьми вечера, — сказал он, делая шаг к ней. — Я звоню тебе двадцать раз. Я звоню в твое управление, мне говорят: «Она на задании». Я звоню твоему начальнику, он говорит: «Она занята». Я жду. Я смотрю на дверь. Я думаю, может быть, с тобой что-то случилось. Может быть, ты ранена. Может быть, ты...

— Кирилл, — она сделала шаг к нему, протянула руки. — Я здесь. Я жива. Все хорошо. Я с тобой.

Она хотела его обнять. Она хотела прижаться к нему, почувствовать тепло его тела, забыть о том, что видела сегодня — нож, кровь на рубашке преступника (он порезал себе руку, когда бил посуду), слезы жены, которая шептала: «Я не хочу умирать». Она хотела домой. В свой дом. К своему мужу.

Он ударил ее в первый раз. Удар пришелся в скулу, с разворота, с силой, которую она не ожидала. Она отлетела к стене, ударилась затылком о косяк. В глазах вспыхнули белые точки, как на старом телевизоре, когда выключаешь его, а экран еще светится. В ушах зазвенело. Она не успела понять, что произошло, как он оказался рядом, схватил ее за плечи, потряхнул.

— Ты моя, — сказал он. — Ты никуда не денешься.

Она смотрела на него и не узнавала. Лицо было другим, не тем, которое она целовала по утрам, не тем, которое улыбалось ей за ужином, не тем, которое говорило «я люблю те-

бя». Лицо было перекошено, глаза горели, губы дрожали. В этом лице не было ничего человеческого. Только животный, древний гнев, который ищет выход.

— Кирилл, остановись!

Он ударил ее второй раз. В корпус, под дых. Она согнулась, воздух вышибло из легких, было нечем дышать, легкие горели, как будто их наполнили огнем. Она упала на колени, схватилась за живот. Он повалил ее на пол, сел сверху, прижал коленями руки.

— Ты моя, — повторял он, занося кулак. — Я тебя сделал. Я тебя сломаю.

Он бил ее по лицу. Раз, два, три. Она не считала. Она смотрела на люстру, которая раскачивалась над ними, и думала, сейчас она упадет. Сейчас она разобьется. И я тоже.

Кровь во рту. Губы разбиты, она чувствует их припухлость, вкус железа на языке. Глаз заплывает, правый, она видит только левым, все размыто, как через мутное стекло. Ребра ноют при каждом вдохе. Она не кричит. Она не плачет. Она лежит и смотрит на люстру.

Рокки выл. Она слышала его сквозь шум в ушах, высокий, отчаянный вой, которого никогда не слышала раньше. Он выл, царапал дверь, пытался прорваться в кухню. Но дверь была закрыта. Кирилл закрыл ее, когда сел ждать. Он знал. Он все спланировал.

Она не сопротивлялась. Не потому, что не могла, нет, она прошла рукопашный бой, она знала приемы, которые могли

бы его остановить, уложить на лопатки, обезвредить. А потому, что в голове щелкнуло, холодно, четко, профессионально, если я сейчас его ударю, я никогда не смогу доказать, что это сделал он. Я стану такой же, как он. У нас будет равная вина. И я не смогу уйти.

Она терпела. Лежала на холодном кафельном полу, плитка была белой, с голубым узором, они выбирали ее вместе в салоне, она говорила: «Слишком холодная», он говорил: «Зато красивая», — и терпела, пока он не устал. Потом он сел рядом, тяжело дыша, и заплакал.

— Аня, — сказал он. — Аня, прости. Я не хотел. Я не знаю, что на меня нашло. Прости.

Он гладил ее по волосам, распущенным, потому что он просил не собирать их в пучок. Он гладил ее по лицу, разбитому, с кровоточащей губой, с заплывшим глазом. Он целовал ее руки, в синяках, сбитых костяшках. Он умолял простить.

Она молча лежала и смотрела в потолок. На люстру, которая больше не раскачивалась. На свет, который не гас. На трещинку в углу, которую они никак не могли зашпаклевать, сколько ни просили мастера.

— Аня, скажи что-нибудь. Пожалуйста.

Она повернула голову, посмотрела на него. На его заплаканное лицо, на его дрожащие губы, на его руки, которые только что ее били. Она не узнавала его. Она не знала этого человека.

— Я хочу пить, — сказала она.

Он принес воду. Дрожащими руками поднес стакан к ее губам. Она пила, чувствуя, как каждое движение отдается болью в ребрах, в скуле, в затылке. Вода была холодной, почти ледяной, и это было хорошо. Это возвращало ее в реальность.

— Я уйду, — сказала она.

— Нет. Нет, Аня, не надо. Я все исправлю. Я пойду к психологу. Я обещаю. Только не уходи.

— Я уйду.

Она с трудом встала. Комната поплыла перед глазами, пол ушел из-под ног, стены накренились, люстра качнулась. Но она удержалась. Она всегда умела держаться. Она прошла мимо него, не глядя, открыла дверь кухни. Рокки бросился к ней, лизнул ее ладони, соленные, в крови, и заскулил.

— Все хорошо, — сказала она ему. — Все хорошо.

Она молча собрала документы, паспорт, права, свидетельство о браке (зачем? сама не знала), фотографию отца, которая стояла на тумбочке. Часы IWC Portugieser, которые она купила после той операции, когда погиб капитан Зуев. Игрушки собаки. Остальное оставила. Оставила все.

Выходя из дома, она слышала, как Кирилл кричит за ее спиной:

— Ты не уйдешь! Ты никуда не денешься! Я тебя найду!
Она не обернулась.

Анна села в машину. Руки дрожали. Не мелко, как бывает

от холода, а крупно, судорожно, как в лихорадке. Она сжимала руль, чтобы унять дрожь, но руль дрожал вместе с руками. Рокки сидел на заднем сиденье, тихий, напряженный, смотрел на нее в зеркало заднего вида.

— Все хорошо, — сказала она ему. — Мы уехали.

Она не знала, куда ехать. Не могла вернуться в управление, там увидят ее лицо, зададут вопросы, будут смотреть с жалостью. Не могла поехать к подругам, она не разговаривала с ними больше года, и ей было стыдно. Не могла остаться в машине, утром ее найдут, и что тогда?

Она поехала в гостиницу. Дешевую, на окраине, где не спрашивают документов. Сняла номер, заперла дверь, села на кровать. Пес улегся у ее ног, положил голову на лапы.

Она смотрела в стену. Белую, пустую, без единого пятнышка. И думала: как? Как я сюда попала? Как я, которая двадцать лет вела переговоры с убийцами, которая знала все признаки абьюзивных отношений, которая учила стажеров распознавать манипуляцию на первых секундах, — как я не заметила этого в собственном доме?

Ответ пришел не сразу. Он пришел под утро, когда она уже перестала плакать и просто лежала, глядя в потолок. Она выключала «сканер» дома. Она не хотела быть переговорщиком в собственной семье. Она хотела быть женой. Она доверяла. Она любила. И это доверие, эта любовь ослепили ее. Она смотрела на Кирилла и не видела того, что видели бы другие, потому что не хотела видеть.

Она думала, это я виновата. Я выбрала его. Я осталась с ним. Я позволяла себя контролировать. Я молчала, когда нужно было кричать. Но потом, когда боль немного утихла, она подумала другое. Нет, я не виновата. Виноват он. Он выбрал бить. Он выбрал контролировать. Он выбрал унижать. Я не выбирала это. Я выбирала любовь. А он выбрал насилие.

Это было важно. Это было главное, что она поняла в ту ночь, сидя в дешевой гостинице на окраине Москвы, с собакой у ног и разбитым лицом. Она не виновата. Виноват он. И она не будет больше молчать.

Глава 7. Заявление

Три дня она не выходила из гостиничного номера, только на короткие прогулки с собакой, в капюшоне, темных очках и быстро. Они с Рокки жили в маленькой комнате на восьмом этаже, с окном, выходящим на глухую стену соседнего здания. Света почти не было, только тусклая лампа над кроватью и серый, болезненный свет, который пробивался сквозь узкую щель между занавесками. Анна сидела на кровати, поджав ноги, и смотрела в одну точку. Собакен не уходил от нее. Он лежал рядом, положив голову ей на колени, дышал в такт ее дыханию, лизал ее руки и лицо, когда она начинала дрожать.

Она почти не ела. Пила воду из-под крана, потому что бутилированная кончилась, а выходить не хотелось. Спала урывками, просыпалась от каждого шороха, от каждого зву-

ка за дверью, от того, что Рокки вздыхал во сне. В голове крутились одни и те же мысли, как заезженная пластинка: как? Зачем? Почему?

Она смотрела на свои руки. Синяки на запястьях, там, где он сжимал их, когда прижимал к полу. Сбитые костяшки, она не помнила, когда успела удариться. Под ногтями запекшаяся кровь. Не ее? Его? Она не знала. Не хотела знать.

На третий день она встала, умылась, оделась. Оделась в то, в чем приехала — джинсы, свитер, кеды. Свитер был темно-зеленым, ее любимым, и на нем не было видно крови. Кровь была только на лице, но она уже засохла, превратилась в коричневые корочки, которые шелушились, когда она морщилась.

— Рокки, — сказала она. — Мы идем к врачу.

Пес поднял голову и посмотрел на нее. В его глазах не было вопроса. Было только «Я с тобой».

Травмпункт находился в десяти минутах езды. Серая, неприметная дверь, табличка, которая давно не мылась, запах хлорки и чего-то еще — лекарств, крови, отчаяния. Анна вошла, оставила пса в машине (он смотрел на нее через стекло, и ей казалось, что он все понимает), поднялась на второй этаж.

Регистратура. Молодая женщина с усталым лицом и красными ногтями, которые стучали по клавиатуре.

— Ваш полис?

— Я из МВД. У меня служебное удостоверение.

— Вам нужно в ведомственную поликлинику.

— Я знаю. Но я здесь.

Женщина посмотрела на нее, на ее разбитое лицо, на заплаканный глаз, на ссадины на скулах. В ее взгляде мелькнуло что-то, узнавание, понимание, жалость. Она не стала спорить.

— Второй кабинет, направо.

Врач была женщиной лет пятидесяти, с короткой стрижкой и внимательными глазами. Она осматривала Анну молча, без вопросов. Ощупывала ребра, смотрела на свет синяки, записывала что-то в карту. Анна сидела на кушетке, смотрела в стену, не чувствуя боли. Боль притупилась, стала фоновой, как гул трансформаторной будки.

— Переломов нет, — сказала врач наконец. — Сильные ушибы мягких тканей, гематомы, сотрясение легкой степени. Нужно наблюдение.

— Спасибо.

Врач помолчала. Потом спросила:

— Заявление писать будете?

Анна посмотрела на нее. В глазах врача не было осуждения, была некая усталость. Усталость человека, видевшего это каждый день. Которая знает, что большинство не пишут. Которые приходят, зашивают раны, ставят диагнозы и уходят, чтобы через месяц вернуться снова.

— Да, — сказала Анна. — Буду.

Врач кивнула.

— Вы не первая. И не последняя. Но вы первая, кто пришел на четвертый день. Обычно приходят через месяц. Или не приходят.

— Я не хотела верить, — сказала Анна. — Думала, что это был срыв. Что он изменится.

— Изменятся? — врач усмехнулась, но усмешка вышла невеселой. — Они не меняются. Они только учатся прятать. А потом снова бьют. Я видела это сотни раз.

Анна молчала. Она понимала, все понимала. Просто не хотела применять эти знания к себе.

— Я напишу заявление, — повторила она.

— Тогда идите в полицию. Там оформят.

Анна встала, взяла куртку. У двери обернулась.

— Спасибо вам.

— Не за что, — ответила врач. — Берегите себя.

Анна не пошла в полицию сразу. Вместо этого села в машину и поехала в управление. К Громову. Он был в кабинете, пил черный кофе и читал рапорты. Когда Анна вошла, без стука, не поздоровавшись, просто открыла дверь и встала на пороге, он поднял глаза. И замер.

Полковник Громов, прошедший Чечню, две командировки в Сирию и десятки переговоров с вооруженными людьми, не дрогнул ни разу за тридцать лет службы. Но сейчас он медленно поставил кружку на стол и сказал тихо:

— Кто?

Анна молчала. Она стояла в кедах, в темно-зеленом свитере, с разбитым лицом, и не плакала. Только сжимала поводок Рокки, присевший у ее ног.

— Я спрашиваю, — голос Громова стал жестче, — кто это сделал?

— Муж, — сказала она.

Громов смотрел на нее долгих пять секунд. Потом встал, обошел стол, подошел к сейфу, достал папку.

— Садись, — сказал он. — И рассказывай.

Анна села. И начала рассказывать. Про четырнадцать часов ожидания. Про выпитое вино. Про удар по голове, потом по лицу, потом по ребрам. Про то, как очнулась на полу в луже собственной крови. Про собаку, которая скулила за закрытой дверью.

Громов слушал, не перебивая. Потом открыл папку, достал чистый лист, ручку и подвинул к ней.

— Пиши заявление.

— Я еще не решила.

— Ты решила, раз пришла сюда.

— Что ему будет? — спросила она. — Штраф? Условно? Я не хочу проходить через все это ради условного срока. Громов посмотрел ей в глаза.

— Послушай меня, — сказал он. — Я не судья и не адвокат. Но я знаю одно, если ты не напишешь сейчас, он сделает это снова. Может быть, не завтра. Может быть, через полгода. Но он сделает. И в следующий раз ты можешь не встать. — И что мне делать?

— Попробуем его посадить, — сказал Громов просто. — Соберем максимум доказательств. Ты уже была у врача?

— Да, только что.

— Отлично. Заберем заключение. Подключим хорошего следователя, соберем максимум доказательств. Найдем свидетелей, если они есть. Не обещаю срока, потому что суды у нас любят мужиков жалеть. Но обещаю, что сделаю все, что в моих силах. А ты сделай то, что в твоих. Пиши заявление. Анна смотрела на лист бумаги. Потом взяла ручку.

— Хорошо, — сказала она. — Попробуем.

Она писала ровно, без помарок, как протокол допроса, которыми исписала сотни страниц. Дата. Время. Адрес. «Я, Соболева Анна Сергеевна, заявляю, что мой муж, Собо-

лев Кирилл Андреевич, причинил мне телесные повреждения...» Перечисляла удары, не вдаваясь в подробности, которые жгли изнутри. Только факты. Только то, что можно проверить и подтвердить.

Громов не мешал. Он стоял у окна, смотрел на улицу, давил в себе желание позвонить прямо сейчас и устроить разнос. Он умел ждать.

— Готово, — сказала Анна.

Громов взял лист, прочитал, кивнул.

— Я передам в следственный комитет. Прямо сейчас. Но ты должна знать, их следователи могут вызвать тебя снова, задать те же вопросы, попросить уточнить. Не пугайся. Это нормально.

— Я не боюсь.

— Знаю, — он посмотрел на нее. — Иди домой. Отдыхай.

Суд длился три месяца. Анна ходила на заседания. Сидела на скамье для свидетелей, смотрела на Кирилла через зал, он сидел в клетке для подсудимых, в серой куртке, похудевший, с темными кругами под глазами. Он смотрел на нее. Она не отводила взгляда.

Адвокат задавал вопросы, каверзные, провокационные, призванные запутать, заставить усомниться, представить ее мстительной женщиной, которая оговорила невиновного мужа.

— Вы говорите, что он бил вас по лицу. Вы обращались к врачу? Да. Когда? На четвертый день после происшествия. Почему не сразу? Я боялась. Чего? Что он придет за мной. Вы не знали, что он в это время был дома и никуда не выходил? Я боялась иррационально. Страх не всегда рационален.

— Вы утверждаете, что он контролировал вас. Запрещал встречаться с друзьями. Диктовал, как одеваться. Проверял телефон. Вы можете это доказать? Свидетели? Мои друзья могут подтвердить, что я перестала с ними общаться после замужества. Письменные доказательства? Нет. Но есть мои показания.

— Ваши показания — это слова. А нужны факты.

Анна смотрела на адвоката, пожилого, ухоженного, в дорогом костюме и золотыми запонками. Он был хорош. Он делал свою работу. Но она делала свою.

— Факты таковы, — сказала она. — Мой муж избил меня. Экспертиза подтвердила побои. Он признал это на допросе. Все остальное — психологическое давление, контроль, изоляция — это то, что привело к избиению. Это не отдельные преступления. Это контекст. И суд должен его учитывать.

Судья, женщина лет пятидесяти, слушала внимательно. Она не перебивала. Она записывала. Анна не знала, что у

нее на уме. Может быть, сочувствие. Может быть, усталость. Может быть, равнодушие.

Кирилл давал показания в последний день. Он стоял в клетке, смотрел на нее, и голос его дрожал.

— Я люблю ее, — сказал он. — Я люблю и никогда не хотел причинять боль. Тот вечер... я не помню его. Я был пьян. Я потерял контроль. Но это не я. Это был не я.

— Кто же? — спросил судья.

— Алкоголь. Стресс. Отчаяние. Я ждал ее четырнадцать часов. Я думал, что она погибла. А она пришла и сказала: «Все хорошо». Как будто ничего не случилось. Как будто я не волновался. Как будто мне было все равно.

— Вы считаете, что ваша жена виновата в том, что вы ее избили? — спросил судья.

— Нет. Но... она могла быть внимательнее. Она могла позвонить. Она могла...

— Соболев, — перебила судья. — Вы признаете вину?

Он помолчал. Потом ответил:

— Да.

— Вы раскаиваетесь?

— Да.

— Вы готовы понести наказание?

Он посмотрел на Анну. В его глазах были слезы.

— Да, — сказал он. — Но я прошу дать мне шанс. Я хочу вернуться к ней. Я хочу все исправить.

Судья вынесла приговор через три дня.

— С учетом признания вины, раскаяния и отсутствия предыдущих судимостей, — сказала она, — суд назначает наказание в виде двух лет лишения свободы **условно** с испытательным сроком два года. В течение этого срока Соболев не должен совершать административных правонарушений, регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и пройти курс психологической коррекции.

Кирилл стоял, не понимая. Условно. Значит — свобода. Значит можно вернуться. Анна сидела на скамье и сжимала в руках часы и чувствовала, как внутри нее что-то обрывается. Ей сказали, что это обычный приговор. Что судьи не сажают мужей за то, что они ударили жен. Но внутри нее что-то оборвалось. Не любовь, она умерла в тот вечер. Не страх, он ушел, когда она написала заявление. А вера в то, что эта система вообще способна защитить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.